

РАЗРУШИТЕЛЬ

Они не хотят тебя убить.

Они хотят тебя запомнить.



О. Ветров

Олег Ветров
Разрушитель

«Автор»

2026

Ветров О. В.

Разрушитель / О. В. Ветров — «Автор», 2026

Это не история о космосе. Это история о том, что вы — ошибка. «Разрушитель» — книга, после которой вы перестанете бояться смерти. И начнете бояться бессмертия. Вы когда-нибудь задумывались, почему Вселенная существует? Почему материя не распадается в хаос? Почему звезды горят, планеты вращаются, а не всё — просто пыль?

© Ветров О. В., 2026

© Автор, 2026

Олег Ветров

Разрушитель

РАЗРУШИТЕЛЬ ПРОЛОГ

Тот, кто остался

1.

Ковалев въехал в зал на инвалидной коляске, и звук резиновых колес о полированный бетон разнесся под высокими сводами, как выстрел.

Звук был неправильным. Слишком громким для такого помещения, слишком резким для такой торжественной обстановки. Акустика зала, рассчитанная на торжественные речи и аплодисменты, превратила шорох шин в нечто агрессивное, почти угрожающее.

Ковалев не смотрел по сторонам. Он знал, что увидит. Знал до того, как открылась дверь. Знал еще вчера, когда собирался на этот допрос. Знал неделю назад, когда получил повестку. Он знал всё. Потому что рой знал всё. А рой был в нем.

Зал заседаний Межзвездного комитета по чрезвычайным ситуациям был спроектирован в эпоху, когда люди еще верили в величие архитектуры. Колонны из полированного гранита, привезенного с Земли — настоящего, не синтетического, добытого в карьерах Урала и обработанного руками мастеров, которых уже не осталось. Потолки высотой в два этажа — чтобы любой, кто войдет, почувствовал себя маленьким и ничтожным. Гербы всех космических держав на стенах — Объединенной Земли, Марсианской Федерации, Пояса астероидов, Лунного содружества — все это должно было внушать уважение, напоминать о могуществе человеческой цивилизации, расплывшейся по Солнечной системе, как плесень по хлебу.

Колосс на глиняных ногах, — подумал Ковалев. — И глина уже трещит.

Но Ковалев смотрел на этот пафос пустыми глазами. Он видел за колоннами трещины — микроскопические, незаметные для обычного взгляда, но отчетливо видимые для его серебристых зрачков. За гербами — пыль. Тонкий слой, который уборщики не вытирали годами. За величием — усталость. Человечество устало. Оно не знало этого еще — но Ковалев знал. Он видел конец. И начало.

Теперь он видел всё.

Остановился в центре зала, под прямым светом галогенных ламп. Свет бил в лицо, высвечивал морщины, провалы под глазами, седые волосы — их стало больше после Регис-3, хотя прошло всего полгода. Он выглядел на шестьдесят. Ему было сорок два.

— Лейтенант-инженер Ковалев, Алексей Павлович, — объявил помощник председателя, молодой человек в слишком тесном мундире. Мундир был новым, с иголки, но сидел плохо — перекошенный воротник, слишком короткие рукава. Помощник явно взял его напрокат или одолжил у старшего коллеги. — Прибыл для дачи показаний.

Голос помощника дрожал. Он смотрел на Ковалева с выражением, которое трудно было определить — страх? любопытство? отвращение? Все вместе. Ковалев привык. Все так смотрели. Полгода назад он был просто инвалидом с ампутированной ногой. Теперь он был чем-то другим. Не человеком. Не монстром. Тем, кто пережил то, что никто не должен пережить.

Председатель комитета — полный мужчина с мясистым лицом и маленькими, заплывшими жиром глазами — даже не поднял головы. Он что-то писал в планшете, тыкая толстым пальцем в сенсорный экран с таким видом, будто делал одолжение самому себе. Бейдж на его лацкане гласил: «Председатель Межзвездного комитета по ЧС, доктор юридических наук В.С. Кравченко».

— Проходите, садитесь, — буркнул Кравченко, не отрываясь от экрана.

Ковалев усмехнулся. *Садитесь*. Он и так сидел. Сидел в этой коляске уже полгода, с тех пор как врачи ампутировали ему вторую ногу — полимерный протез, который он носил двадцать лет, начал отторгаться. Тело отторгало чужеродный материал. Или рой, который все еще жил в его крови, перестраивал тело под себя, делая его более... информационным. Менее человеческим.

Врачи сказали: «Аутоиммунная реакция. Организм атакует имплант». Ковалев знал, что это ложь. Он знал, потому что чувствовал, как рой шевелится в культе каждую ночь. Как он перестраивает нервные окончания. Как он готовит тело к чему-то большему, чем просто жизнь.

— Благодарю, — сказал Ковалев. Голос его был сух, без интонаций. Он подкатил к длинному столу, за которым сидели члены комитета — четырнадцать человек в черных костюмах, с бейджами на груди и скучающими лицами. Они не знали. Они еще не знали, что он им расскажет. И не готовы были узнать.

Семь женщин, семь мужчин. Юристы, политики, пара военных с усталыми глазами. Один — молодой ученый из Академии наук, приглашенный в качестве консультанта. Он единственный смотрел на Ковалева не со скукой, а с интересом — тем же интересом, с которым Чжао смотрела на рой. Голодным. Хищным.

Кравченко наконец поднял голову. Посмотрел на Ковалева — на его седые волосы, на глубокие морщины, на пустые, серебристые глаза, которые, казалось, смотрели не на собеседника, а сквозь него, туда, где время сворачивалось в спираль и заканчивалось ничем.

Ковалев видел, как Кравченко вздрогнул. Всего на секунду. Потом взял себя в руки.

— Лейтенант Ковалев, — сказал председатель, — мы благодарим вас за то, что согласились дать показания после... вашего возвращения.

— После того, как меня признали мертвым и откопали дело в архивах? — перебил Ковалев. — После того, как мои бывшие сослуживцы получили пенсии по случаю моей гибели и успели их пропить? После того, как мою квартиру отдали племяннику, которого я в глаза не видел?

— Давайте не будем, — председатель поднял руку. Жирная, с толстыми пальцами, покрытыми седыми волосками. — Мы понимаем, это было трудное время.

— Вы ничего не понимаете, — сказал Ковалев тихо. Спокойно. Без злобы. С усталостью человека, который повторяет одно и то же в сотый раз и знает, что его не услышат. — Но я вам объясню. С самого начала. Издалека. Как учил меня капитан Градов. Царствие ему небесное, если оно вообще существует.

Он перекрестился. Правая рука дрожала. Не от набожности — от привычки. Градов крестился перед каждым опасным выходом. И Ковалев перенял это.

В зале повисла тишина. Даже лампы, казалось, загудели тише.

Ковалев откинулся в коляске, сложил руки на коленях — здоровая левая поверх культи, прикрытой серым армейским пледом. Плед был старый, еще с «Разрушителя». Единственное, что осталось от корабля.

— Вы готовы слушать? — спросил он. — По-настоящему слушать? Потому что то, что я скажу, не укладывается в ваши отчеты, протоколы и стандартные процедуры. Это ломает ваши мозги. Как рой сломал мозги двадцати двух моих товарищей.

Председатель переглянулся с заместителем. Заместитель — женщина с острым лицом и холодными глазами, бейдж «Л.Н. Антонова, зам. председателя» — кивнула. Жест был едва заметным, но Ковалев увидел. Он видел всё.

— Мы готовы, лейтенант, — сказала Антонова. — Рассказывайте.

Ковалев посмотрел на лампы дневного света, висающие под потолком. Они гудели — ровно, мерно, успокаивающе, на частоте 50 герц, стандартной для земных электросетей. Но Ковалев слышал в этом гуле другой звук. Тонкий, высокий, почти за пределами слышимости.

Голос роя. Который был везде. Даже здесь. Даже сейчас. Даже в этом святилище человеческой бюрократии.

Он закрыл глаза на секунду. Услышал:

«Расскажи им. Не бойся. Они не поймут. Но это не важно. Важно, чтобы они услышали.

А когда придет время — вспомнили».

Он открыл глаза.

— Хорошо, — сказал он. — Начнем с того, что я не герой. Запомните это сразу. Я — инженер-кибернетик. Я чиню механизмы. Я рассчитываю траектории. Я не создан для подвигов. Единственная причина, по которой я сижу перед вами, — моя нога.

Он хлопнул по протезу. Тот отозвался глухим, пластиковым звуком — не таким, как от живой плоти. Пустым. Ненстоящим.

— Полимер. Простые углеводороды. Никакой сложной электроники — протез старой модели, механический, на тросах, без нейроинтерфейса. Рой не может его читать. Не может через него проникнуть в мой мозг. И мой мозг — не подарок. IQ — сто восемнадцать. Чуть выше среднего. Слишком простой для роя, слишком скучный. Как мелкая монета — поднять можно, но зачем?

Он помолчал. В зале было тихо. Слышно только гул ламп и чье-то тяжелое дыхание.

— Ваши эксперты, — продолжил Ковалев, обводя взглядом ученого-консультанта, — наверняка прочитали мои рапорты. Видели записи. Строили догадки. Они ничего не поняли. Потому что понять нельзя. Можно только принять. Или умереть.

Ученый — молодой парень, не старше тридцати, с бейджем «к.ф.-м.н. Д.В. Белозеров» — покраснел, хотел что-то сказать, но промолчал.

2.

Кравченко заерзал в кресле. Бумаги под его локтями зашуршали.

— Лейтенант, мы здесь не для философских дискуссий. Нам нужны факты. Что произошло с «Разрушителем»? Где остальные члены экипажа? Что случилось на Регис-3?

— Факты, — Ковалев усмехнулся. Усмешка вышла кривой — правая сторона лица почти не двигалась, результат микроинсульта, который случился через месяц после возвращения. — Вы хотите фактов. Хорошо. Факт первый: «Разрушителя» больше нет. Он превратился в часть роя.

Он замолчал, давая словам осесть.

— Как это — «превратился в часть роя»? — спросил военный, седой полковник с нашивками Генштаба. — Корабль не может... распасться на частицы.

— Может, если эти частицы достаточно умны, — ответил Ковалев. — Рой разобрал «Разрушитель» атом за атомом. Металл, пластик, керамика — всё пошло на постройку новых частиц. Теперь корабль везде. И нигде. Как и его экипаж.

— А экипаж? — спросила Антонова. — Двадцать два человека?

— Факт второй, — Ковалев поднял два пальца. — Остальные члены экипажа — двадцать два человека — мертвы. Или не мертвы. Я не знаю, как назвать состояние, в котором они находятся. Вегетативная жизнь? Электрическая смерть? Информационное бессмертие? Выбирайте термин, который вам больше нравится.

— Что значит «информационное бессмертие»? — спросил Белозеров, подавшись вперед. Ковалев посмотрел на него. Долго. Так, что молодой ученый покраснел сильнее.

— Это значит, — сказал Ковалев медленно, — что их личности — их воспоминания, их мысли, их страхи, их надежды — были скопированы. Сжаты. Записаны в структуру роя. Они не умерли. Они стали частью вечной памяти.

— Это... это звучит как...

— Как бред сумасшедшего? — закончил Ковалев. — Да. Я знаю. Но это правда. Я сам был там. Я сам видел, как Петров вскрыл себе череп ложкой. Как Градов сидел в кресле с потухшей трубкой и пустыми глазами. Как Чжао ушла в рой, улыбаясь.

Он замолчал. Горло перехватило. Не от слез — рой забрал его слезы вместе с остальными человеческими слабостями. От чего-то другого. От остатка памяти. От того, что осталось, когда всё остальное уже сгорело.

— А вы, лейтенант? — спросила Антонова. Ее голос был ровным, но Ковалев заметил, как она вцепилась в ручку — побелевшие костяшки. — Вы живы?

Ковалев посмотрел на нее. В ее острые глаза. В морщинки вокруг рта. В седую прядь, выбившуюся из строгой прически.

— Я? — сказал он. — Я — то, что осталось. Не человек. Не рой. Мост. Интерфейс. Тот, кто помнит.

Он поднял руку. Пальцы дрожали — слабо, едва заметно, но достаточно, чтобы члены комитета переглянулись.

— Хотите фактов? Я дам вам фактов. Но сначала — вопрос.

Он перевел взгляд с одного лица на другое. Кравченко — настороженность. Антонова — любопытство, смешанное со страхом. Белозеров — жадный интерес. Военный — скепсис. Остальные — скука с примесью раздражения.

— Вы когда-нибудь задумывались, почему Вселенная существует? Почему материя организована в звезды, планеты, галактики? Почему не весь хаос?

— Это философия, — буркнул Кравченко.

— Это физика, — ответил Ковалев. — Энтропия. Второе начало термодинамики. Все стремится к хаосу. Звезды гаснут, планеты остывают, черные дыры испаряются. Вселенная умирает. Медленно, но верно.

— Мы знаем, — сказал председатель.

— Нет, — ответил Ковалев. — Вы не знаете. Вы знаете формулы. Вы знаете цифры. Вы знаете законы. Вы не знаете ужаса. Ужас в том, что Вселенной плевать. Ей плевать на ваши мечты, на ваши цивилизации, на вашу любовь. Она просто умирает. И единственное, что может замедлить эту смерть, — информация.

Он подался вперед, сверкнув серебристыми глазами. Кто-то из членов комитета ахнул.

— Сжатая информация. Упакованная в простые, экономные структуры. Чистые биты, лишённые шума. Рой — это антиэнтропия. Он — память Вселенной. Он записывает всё, что происходит, чтобы сохранить это навсегда. Он существует миллиарды лет. Он старше звезд. И он не враг.

— Тогда кто он? — спросила Антонова.

— Он — ответ, — сказал Ковалев. — На вопрос, который вы боитесь задать. Зачем всё это? Зачем жизнь, если она кончается? Зачем любовь, если она забывается? Зачем надежда, если Вселенная умирает?

Он замолчал. Откинулся на спинку коляски.

— Рой — это вечность, — сказал он тихо. — А мы — всего лишь страница в его архиве. Одна из миллиардов.

В зале было тихо. Лампы гудели. Кто-то кашлянул — сухо, нервно.

3.

— Лейтенант Ковалев, — начал Кравченко, выдержав паузу, — мы вызвали вас не для...

— Я знаю, зачем вы меня вызвали, — перебил Ковалев. — Вы хотите знать, можно ли вернуться на Регис-3. Можно ли победить рой. Можно ли использовать его как оружие.

Он усмехнулся. Усмешка вышла кривой — правая щека дернулась, левая осталась неподвижной.

— Ответ — нет. Нет. И нет.

— Но вы же выжили, — сказал Кравченко. — Вы — живое доказательство того, что с роём можно сосуществовать.

— Я выжил, потому что стал частью системы, — ответил Ковалев. — Потому что отказался от человечности. Потому что позволил рою переписать мой код.

Он расстегнул рубашку. Три пуговицы. Медленно. Специально — чтобы они видели, чтобы не отворачивались.

На коже — тонкие серебристые линии, как паутина. Они пульсировали в такт сердцу. Слабо. Едва заметно. Но достаточно, чтобы члены комитета отшатнулись.

— Видите? — сказал он. — Рой во мне. Он везде. В моей крови, в моих костях, в моем мозге. Я — носитель. Я — мост. Я — тот, кто помнит.

Он застегнул рубашку. Поправил воротник.

— И я пришел предупредить вас. Не летите на Регис-3. Не пытайтесь его уничтожить. Не пытайтесь с ним договориться. Оставьте его в покое.

— А если мы не слушаем? — спросил военный.

Ковалев посмотрел на него. Полковник выдержал взгляд. Молодец. Ковалев уважал людей, которые не отводили глаз.

— Тогда вы станете такими же, как я, — сказал он. — Или умрете. Выбора нет.

— Выбор всегда есть, — сказал полковник.

— Выбор — это иллюзия, — ответил Ковалев. — Реальность — это последствия. А последствия вашего выбора уже predetermined. Я видел их. Я видел всё.

Он развернул коляску и покатил к выходу. Шины зашуршали по полированному бетону — снова как выстрелы.

— Лейтенант! — окликнула его Антонова. — Мы еще не закончили!

Ковалев остановился у двери. Не оборачиваясь.

— Закончили, — сказал он. — Я сказал всё, что нужно. Остальное вы узнаете сами. Когда придет время.

Дверь открылась. Помощник председателя, тот самый в тесном мундире, стоял в коридоре и смотрел на Ковалева круглыми глазами.

Ковалев выехал.

Дверь закрылась за ним с глухим стуком.

4.

В коридоре было холодно. Ковалев остановился, перевел дух. Руки дрожали. Не от страха — от напряжения. Держать рой под контролем, не давать ему вырваться, не показывать этим людям правду — это стоило огромных усилий.

Рой хотел выйти. Хотел показать себя. Хотел, чтобы они увидели его величие и ужас одновременно.

«Они не верят тебе, Ковалев», — шепнул голос в голове. Не голос — вибрация. Не слова — смысл.

«Знаю», — подумал Ковалев.

«Они пошлют следующий корабль. Они всегда посылают следующий корабль. Люди не умеют останавливаться».

«Знаю».

«Они умрут. Как "Фантом". Как "Разрушитель". Как все, кто придет после».

«Знаю».

«И ты не сможешь их спасти».

«Знаю».

Он открыл глаза. Поднял голову.

В конце коридора стоял молодой офицер — тот самый помощник, который объявлял его прибытие. Он смотрел на Ковалева с любопытством и страхом. Бейдж — «Лейтенант Соколов,

И.В.». Молодой, не старше двадцати пяти. Чисто выбритый. Глаза — ясные, голубые. Форма — новая, сидит идеально, не то что у его коллеги.

— Лейтенант, — сказал Соколов, — можно у вас автограф? Для сына. Он мечтает стать космонавтом.

Ковалев посмотрел на офицера. На его молодое лицо. На чистые черты. На бейдж, приколотый чуть криво.

И замер.

В глазах Соколова — в глубине, в самой глубине, там, куда не проникает свет, там, где прячутся самые темные мысли и самые страшные тайны, — был серебристый отблеск. Тонкий, едва заметный. Как паутина. Как змеиная чешуя. Как искра в сухой траве перед пожаром.

Рой.

Он был здесь. На Земле. В этом молодом офицере. В этом коридоре. В этих стенах. В каждом человеке, который дышал этим воздухом, пил эту воду, ел эту еду. Он был везде. Он был всегда. Он ждал.

Ковалев почувствовал, как внутри него, в самом дальнем углу сознания, там, куда даже рой не добрался, там, где еще теплилась искра человеческого, зашевелилась старая, давно забытая боль. Не страх — хуже. Понимание.

Он не принес рой на Землю. Рой уже был здесь. Он был здесь миллиарды лет. Он ждал. Ждал, когда люди станут достаточно сложными, достаточно информационно-богатыми, чтобы стать интересными для него. И дождался.

— Автограф? — переспросил Ковалев. Голос его дрогнул впервые за много месяцев.

— Если можно, — Соколов протянул блокнот и ручку — старомодный, бумажный блокнот, настоящую шариковую ручку. Такие уже не выпускали лет пятьдесят. Соколов явно был коллекционером, или получил в наследство, или нашел в чем-то забытом ящике.

Ковалев взял блокнот. Рука дрожала. Он написал:

«Не лети на Регис-3. Не верь им. Оставайся человеком, пока можешь. Ковалев».

Соколов прочитал, побледнел. Губы его дрогнули, он хотел что-то спросить — «почему?», «что вы имеете в виду?», «вы о чем?» — но Ковалев уже уезжал, быстрее, чем позволяла коляска, быстрее, чем позволяли больные руки, быстрее, чем позволяла усталость.

Он выкатился на улицу.

5.

Солнце садилось. Небо над Москвой было багровым, как открытая рана.

Ковалев поднял глаза к облакам. Они висели низко, тяжелые, налитые влагой. И ему показалось — или он увидел? — что облака шевелятся. Не от ветра. А сами по себе. Как будто внутри них что-то жило. Пульсировало. Ждало.

— Началось, — прошептал он. — Началось.

Ветер ударил в лицо — холодный, сырой, октябрьский. Ковалев запахнул куртку, натянул капюшон. Вокруг ни души. Здание комитета стояло на окраине, в промышленной зоне, среди старых складов и заброшенных цехов. Идеальное место для бюрократии — подальше от людей, подальше от вопросов, подальше от реальности.

Он достал из кармана пачку сигарет. Закурил. Табак был горьким, дешевым — других он не признавал. Затянулся глубоко, до хрипоты в легких. Выдохнул. Дым смешался с туманом.

«Ты куришь, Ковалев», — шепнул рой. — «Ты губишь свое тело. Тело, которое мы делим».

— Мое тело, — сказал Ковалев вслух. — Мое решение.

«Твое тело — наш храм. Не оскверняй его».

— Мое тело — моя могила. И я буду делать с ним что хочу.

Он затянулся снова. Дым обжег горло, легкие взбунтовались, но он не закашлялся. Он разучился кашлять. Рой забрал и этот рефлекс.

Он закрыл глаза. Прислонился головой к спинке коляски.

И слышал шепот. Тот самый. Который преследовал его полгода. Который звучал в каждой капле воды, в каждом дуновении ветра, в каждом ударе сердца.

«Ты вернулся, Ковалев. Ты дома. Теперь мы везде. Теперь мы — всё. А ты — наш голос. Наши глаза. Наша память. Расскажи им. Расскажи им правду. Пусть выберут. Или умрут. Или станут. Как ты».

Ковалев открыл глаза.

Он знал, что должно было случиться дальше. Он видел это тысячи раз. Во снах. Наяву. В тех видениях, которые рой посылал ему, когда он закрывал глаза.

Через месяц комитет отправит на Регис-3 новый корабль. «Надежду». Восемь человек. Они не послушают его предупреждений. Они захотят увидеть своими глазами. Они погибнут. Как «Фантом». Как «Разрушитель». Как все, кто приблизится.

А потом — через год, через два, через десять лет — рой придет на Землю. Не как захватчик. Не как враг. Как гость. Как сосед. Как тот, кто всегда был здесь, просто люди не замечали.

И они сделают выбор. Интеграция. Или смерть.

Ковалев знал, что выберут большинство. Он видел это. Семь миллиардов серебристых глаз, смотрящих в небо. Семь миллиардов симбионтов, забывших, что такое боль, страх, любовь. Семь миллиардов страниц в архиве Вселенной.

Он знал, что Борис и Сальваторе откажутся. Улетят в глубокий космос. Умрут через восемнадцать часов, когда кончится кислород. Умрут людьми. Свободными. Одинокими.

Он знал всё.

И ничего не мог изменить.

— Расскажу, — сказал Ковалев ветру. — Расскажу всё. С самого начала. Издалека.

Он потушил сигарету о подлокотник коляски, засунул окурочек в карман — мусорить не привык даже теперь, когда мусор уже не имел значения.

— Начнем, — сказал он.

И закрыл глаза.

Перед ним встал «Разрушитель». Корабль, который он любил. Корабль, который убил его экипаж. Корабль, который стал его могилой и воскрешением.

Он начал рассказ.

С самого начала.

ГЛАВА 1

Разрушитель

1.

Корабль класса «Разрушитель» не имел никакого отношения к разрушению. Так называли первую серию крейсеров дальнего радиуса — в честь астероида, открытого в 2178 году и благополучно забытого к 2200-му. Астероид был безобидной глыбой льда и пыли, корабль — не более чем транспортной единицей с усиленной броней. Но название прижилось. Как приживаются все неудачные названия — цепко, нелогично и навсегда.

Ковалев любил этот корабль.

Не так, как любят живых существ — а так, как любят хорошо написанную программу или точно рассчитанную конструкцию. Та любовь холодная, без соплей и сантиментов. Она основана на понимании: когда каждая деталь на своем месте, когда допуски соблюдены, когда резьба затянута с правильным моментом — возникает чувство, похожее на гармонию. Инженерное счастье.

Он знал каждую панель, каждый болт, каждую заклепку.

За два года, проведенных на верфях Цереры при сборке «Разрушителя» — сначала наблюдателем от Академии, потом младшим инженером, потом старшим, — он успел изучить

корабль до молекулярного уровня. Он мог вести его вслепую, через аварийные системы, с отключенной электроникой, ориентируясь только на вибрацию корпуса и запах смазки в вентиляции. Он знал, где проложены кабели — не по схемам, а наощупь, потому что сам помогал прокладывать каждый метр в труднодоступных отсеках. Он знал, какие люки скрипят при открытии (носовой шлюз, левое крыло, третий отсек), а какие заедают в сырую погоду. В космосе понятие «сырая погода» было условным, но Ковалев мыслил земными категориями — это помогало не сойти с ума в многомесячных перелетах.

Технические характеристики «Разрушителя» были впечатляющими — на бумаге.

Длина — 187 метров ровно, если измерять от носового обтекателя до сопел главного двигателя. Водоизмещение (этот термин использовали по традиции, хотя в космосе нет воды) — 42 000 тонн. Четыре двигательных блока, каждый — с независимой системой охлаждения и резервным контуром питания. Радиаторы-ребра, торчащие во все стороны под агрессивными углами, — они отводили тепло от плазменных ускорителей и одновременно служили защитой от микрометеоритов.

Обшивка — композитная, из титана, кевлара и углеродного волокна. Толщина — от 5 до 15 сантиметров в зависимости от зоны. Цвет — темно-серый, почти черный, с многочисленными заплатками — следы метеоритной эрозии и неудачных стыковок на верфях. Сварные швы выступали наружу — конструкторы сэкономили на обтекателях, справедливо полагая, что в вакууме аэродинамика не имеет значения.

Экипаж — 23 человека.

В штатном режиме полагался 41, но война с сепаратистами на Церере выкосила бюджет, и многие позиции автоматизировали. Вместо пяти вахтенных механиков осталось двое. Вместо трех штурманов — один. Вместо врачебной бригады — фельдшер с медицинским ящиком и полусломанным томографом.

Капитан Градов любил повторять: «Электроника — это хорошо, пока есть электричество. Но когда его нет — хорошо иметь кувалду. У нас есть кувалда. И лом. И пара запасных турбин, собранных на коленке из говна и палок».

Это была неправда, конечно. Никаких турбин на коленке никто не собирал. Но дух был правильный: «Разрушитель» проектировался до эры нанотехнологий, поэтому в нем было мало того, что могло бы сломаться на молекулярном уровне.

Большие механизмы. Толстые кабели в двойной изоляции. Резервные системы, продублированные вручную. Кислородные баллоны с механическими вентилями, которые открывались усилием пальцев, а не по сигналу с процессора. Двигатели, запускаемые с третьей попытки, но уж если запускались — работали до полной выработки ресурса.

Максимальная скорость в крейсерском режиме — 0.07 световой. Переход в транс-световой — через привод Алкубьерре модификации 4.7, с КПД 12 процентов. По меркам 2194 года это считалось неплохим, хотя техники проклинали конструкторов за каждый лишний градус нагрева. Расход топлива — 0.4 тонны гелия-3 на парсек. Запас — на три полных цикла «Земля — граница Оорта — Земля» плюс сорок процентов резерва.

Ковалев знал все эти цифры наизусть. Он перепроверил их перед стартом, как делал всегда. Мания контроля — так называла это Чжао. «Ты пытаешься контролировать то, что нельзя контролировать, Ковалев. Вселенная слишком сложна для твоих цифр». Она была права. Он знал. Но не мог остановиться.

2.

Капитаном «Разрушителя» был Илья Семенович Градов, и эта фамилия на флоте значила больше, чем любое звание.

Градов-прадед командовал атомной подводной лодкой К-142 — той самой, что в 2058 году обнаружила затонувший американский беспилотник у берегов Норвегии и три недели прятала его от чужих гидроакустиков. Беспилотник потом изучили в секретной лаборатории

на Новой Земле, и многие технологии, которые до сих пор стоят на вооружении, пошли именно оттуда. Градов-прадед получил Героя посмертно — умер от лучевой болезни через пять лет после того похода, но никому не сказал ни слова. «Военная тайна, — повторял он перед смертью. — Важнее жизни».

Градов-дед командовал орбитальной станцией «Мир-7», когда на нее упал отработанный разгонный блок. Дед тогда лично, в скафандре, перекрыл аварийный люк, потеряв два пальца, но сохранив герметичность. Пальцы зажили, люк заварили, станция проработала еще десять лет. Дед после этого случая пил запоем, пока сердце не остановилось.

Градов-отец командовал эсминцем «Громовой», который участвовал в подавлении мятежа на спутниках Юпитера. Эсминец тогда разнесли в щепки — мятежники использовали кинетические бомбы, старые, но надежные. Отец выжил, хотя и остался на всю жизнь с осколком в позвоночнике. Осколок давил на нерв, ныла спина, но он продолжал служить. «Боль — это напоминание, — говорил он сыну. — Что ты жив. Что ты не сдался. Что ты — Градов».

Сам Илья Семенович выбрал дальний космос, хотя ему предлагали теплые места: преподавательскую должность в Академии, штабную работу на Церере, даже кресло в Межзвездном комитете по чрезвычайным ситуациям — место, за которое лоббисты дрались зубами. Он отказался от всего. Сказал: «Я не кабинетная крыса. Я хочу, чтобы под ногами гудело железо, а за спиной был вакуум».

Илья Градов был из тех командиров, которые появляются раз в поколение. Жесткий, но справедливый. Требовательный, но не жестокий. Верящий в устав, но умеющий его нарушать, когда того требуют обстоятельства. Молодые офицеры его боялись и обожали одновременно. Старые — уважали той особой уважительной ненавистью, которую испытывают друг к другу профессионалы одного уровня.

Градов носил бороду.

Не модную подстриженную, а настоящую, русскую, в которой запутывались крошки от сухого пайка и крошились табачные листья из трубки. Борода была рыжей, с проседью, и делала его похожим на старого лесного духа. Он курил эту трубку постоянно, вопреки всем правилам противопожарной безопасности и здравого смысла. Штрафы, наложенные на него за курение в неположенных местах, могли бы окупить малый разведывательный корабль. Градов платил их из своего кармана и продолжал курить. «Трубка — это не вредная привычка, — говорил он. — Это философия. Пока ты раскуриваешь, успеваешь подумать. Забыть. Простить».

Он знал наизусть «Словарь морского жаргона» 1950 года выпуска — подарок отца, потерявший кожаный переплет, пожелтевшие страницы, запах старой бумаги и табака. И умел так материться, что даже бывалые механики, прошедшие через три войны и пять контрактов с криминальными синдикатами пояса астероидов, краснели и отводили глаза.

И еще он играл на губной гармошке.

Каждый вечер, после ужина, если не было аврала — а авралов почти не случалось, полет был рутинным, расслабленным, как медленная прогулка по парку, — Градов выходил в каюткомпанию.

Садился в кресло — только его, капитанское, с подлокотниками, потертыми до дыр, с продавленным сиденьем, повторявшим форму его зада.

Доставал гармошку из внутреннего кармана форменной куртки.

И играл.

Что именно — никто не мог сказать. Это не были известные мелодии. Не фольклор. Не классика. Не джаз. Это были какие-то другие звуки — полевые, степные, бесконечные, как линия горизонта. В них было что-то от ветра, дующего по ковыльной траве. Что-то от скрипа тележного колеса. Что-то от дальнего волчьего воя. Что-то от плача ребенка, которого никто не слышит.

От этих мелодий хотелось пить чай с мятой и смотреть на звезды. И плакать — без причины просто потому, что мир огромен, а ты мал, и это правильно. И больно. И хорошо одновременно.

Ковалев слушал эти концерты каждый вечер. Они казались ему символическими — последний островок человеческого тепла посреди холодной, равнодушной Вселенной. Место, где еще оставалась надежда.

Как он ошибался.

3.

Старшим механиком был Джованни Сальваторе — итальянец из Неаполя, которого судьба занесла в космический флот через серию маловероятных событий.

Цепочка выглядела так: банкротство семейного рыбного бизнеса — конкуренты из китайского синдиката сбросили цены на тунец на сорок процентов, и семейная компания, просуществовавшая сто двадцать лет, рухнула за три месяца; неудачный брак — жена, оказавшаяся мошенницей, ушла к адвокату через три месяца после свадьбы, прихватив половину имущества и кредит на остатки бизнеса; знакомство с вербовщиком в баре при гостинице «Космос» — вербовщик был пьян и предложил «лететь на край света, там хорошо платят».

Сальваторе согласился, потому что терять было нечего. Через двадцать лет он был уже старшим механиком на крейсере дальнего радиуса и не собирался останавливаться. «Я прошел ад, — говорил он. — Теперь я хочу пройти рай. Или еще один ад. Неважно. Главное — платят».

Ему было под пятьдесят, но выглядел он на все шестьдесят с лишним: лысый, сломанный нос — результат драки в баре на Мальте, 2179 год, противник весом под центнер, бывший десантник, Сальваторе выиграл, но нос так и не сросся; кулаки как две кувалды — каждая размером с детскую голову, сбитые костяшки, шрамы от ожогов, татуировки, выцветшие до неузнаваемости.

Говорил он с таким сильным неаполитанским акцентом, что половину фраз приходилось додумывать по контексту, а иногда — по движению губ. Сальваторе знал это и иногда специально ускорял речь, чтобы напугать собеседника. «Если ты не понимаешь моих слов, — говорил он, — ты поймешь мои кулаки. А кулаки говорят на универсальном языке».

При этом он был блестящим инженером. Чувствовал механизмы кожей, слышал малейшие изменения в вибрации двигателей, мог определить неисправность по запаху перегретого металла за три отсека.

Говорил: «Машина как баба. Если не понимаешь, чего она хочет, она тебя убьет. Но если понимаешь — она будет работать вечно. Или пока не кончится топливо». К нему прислушивались даже те, кто не понимал ни слова из его лекций о подшипниках, коэффициентах трения и оптимальных режимах затяжки болтовых соединений в условиях микрогравитации. Потому что когда Сальваторе говорил «надо делать так» — двигатели слушались. Когда говорил «надо делать эдак» — двигатели слушались тоже. А когда говорил «всё, приехали, дальше без ремонта ни шагу» — никто не спорил.

Сальваторе был единственным членом экипажа, с которым Ковалев мог говорить часами. О термодинамике обратного цикла. О плазменных потоках в камере сгорания. О том, почему старые ионные двигатели лучше новых, хотя их КПД ниже на три процента. Ответ: потому что старые чинятся на коленке простым смертным, а для новых нужна целая фабрика на орбите и команда докторов наук.

Они часто сидели в машинном отделении — в самом сердце корабля, где воздух пах маслом и озоном, где стены дрожали от работы насосов, где температура редко опускалась ниже тридцати пяти градусов. Пили растворимый кофе. Сальваторе называл его «помои» и «пойло для камикадзе», но пил по три кружки за вахту — больше не давал фельдшер, давление поднималось.

Их дружба была странной.

Ковалев — образованный, суховатый, с диссертацией по методам сжатия данных в межзвездной связи и двумя патентами на системы охлаждения. Сальваторе — неотесанный, шумный, с десятилетним образованием и дипломом вечерней школы, который он получил уже на флоте, потому что без диплома не повышали в звании.

Но она была настоящей. И именно она спасла Ковалеву жизнь в конце. Потому что в критический момент, когда логика отказала и расчеты разбежались, как тараканы от света, именно Сальваторе действовал так, как надо — не думая, не анализируя, просто делая. По инерции. Как механизм.

4.

Ксенобиолог — Чжао Мей — была полной противоположностью Сальваторе.

Тихая. Замкнутая. С вечно полуприкрытыми глазами, которые, казалось, смотрели не на собеседника, а сквозь него, куда-то в четвертое измерение. Она передвигалась по кораблю бесшумно, как призрак — заходила в кают-компанию, садилась в угол, и можно было не заметить ее присутствия часами, пока она вдруг не заговаривала.

Голос у нее был тихий, ровный, без интонаций. Азиатская вежливость, смешанная с абсолютной, почти агрессивной честностью.

Ее полное имя было Чжао Мэйлинь, но она сократила его до «Мей» — так короче и проще для иностранцев. Причина — «слишком длинные имена привлекают внимание, а внимание — это проблема». Ковалев так и не понял, что она имела в виду. Возможно, опыт преследований со стороны коллег-мужчин в академической среде (Чжао была красива той особой, ледяной красотой, которая пугает и притягивает одновременно). Возможно, что-то другое, о чем она не говорила и никогда не скажет.

Чжао родилась в Шанхае, в семье преподавателей физики. Отец — профессор квантовой электродинамики, мать — старший научный сотрудник по физике плазмы. В доме говорили на трех языках — китайский, английский, русский, потому что родители работали по обмену в Дубне. Дочь пошла по их стопам, но свернула в сторону биологии — чем очень расстроила отца: «Ты будешь изучать мясо? Мясо — это не физика! Мясо — это химия! Химия — это для тех, кто не тянет физику!»

Она защитила диссертацию по экзобиологии в двадцать семь лет, затем еще одну — по астробиологии в тридцать один год. К тридцати восьми годам опубликовала четырнадцать статей в ведущих научных журналах, десять из которых были встречены в штывы научным сообществом. Слишком смелые. Слишком нестандартные. Слишком пугающие.

Чжао не верила в белковую жизнь.

Это было ее кредо, ее крестовый поход, ее безумие. Она считала, что большинство форм жизни во Вселенной должны быть основаны на других принципах — на кремнии, на плазме, на электромагнитных полях, на сложных квантовых структурах, которые мы пока не умеем даже регистрировать. Белок — это случайность, локальное отклонение, брак природы. Во Вселенной, подчиненной энтропии, белок слишком хрупок, слишком энергозатратен, слишком короткоживуч. Настоящая жизнь должна быть вечной. Или почти вечной.

Эта идея сделала ее изгоем в академических кругах. Ее называли «фантазеркой», «мистиком», «бабкой у подъезда», «женщиной, которая перечиталась фантастики в детстве». Один профессор из Оксфорда написал разгромную статью, в которой назвал ее теории «научной фантастикой для домохозяек и утешением для бедных умом».

Чжао не ответила. Она просто ждала.

И дождалась.

Когда пропал «Фантом» и руководство флота начало лихорадочно искать специалистов по «нестандартным угрозам», имя Чжао всплыло в базе данных. Ее пригласили на собеседование. Ее теории, которые раньше казались бредом, вдруг обрели практический смысл. Если

«Фантом» уничтожен чем-то необычным — кто лучше разберется в этом, чем женщина, которая посвятила жизнь необычному?

Чжао согласилась сразу. Ковалев подозревал, что она ждала этого момента всю жизнь.

Он относился к ней с осторожностью. Уважал ее ум — Чжао была, безусловно, самым интеллектуально мощным человеком на корабле. Петров был гением, но гением-специалистом — электроника, схемы, интегралы, алгоритмы. Чжао была гением общего профиля — она мыслила системами, видела связи там, где другие видели хаос, угадывала паттерны там, где другие видели случайность.

Но Ковалев не доверял ее интуиции. Слишком часто она говорила загадками. Слишком часто ее ответы на простые вопросы звучали как предсказания оракула. И слишком часто эти предсказания сбывались.

— Рой не опасен, — сказала она за час до посадки на Регис-3. Никто не спрашивал ее мнения. Она просто сказала это, глядя в пустоту. — Рой просто работает. Мы для него — не враги, не пища, не угроза. Мы — необработанные данные. Он будет с нами работать. А мы — с ним.

— Это звучит как угроза, — заметил Ковалев.

— Это звучит как описание, — ответила Чжао. — Угроза предполагает намерение. Уроя нет намерений. Он просто есть. Как гравитация. Как радиация. Как время.

Она была права. И она была не права. Но об этом — позже.

5.

Пилотом был Борис — без имени, без фамилии, без прошлого.

Все, что о нем знали: ветеран войны с сепаратистами на Церере. Потерял левую руку в бою. Не «потерял» в том смысле, что она отсохла от болезни, и не «ампутировали по медицинским показаниям». Отлетела.

Взрывом.

При неудачной стыковке с транспортным модулем, который оказался начинен взрывчаткой. Борис тогда был за штурвалом, успел увести корабль, но руку, высунувшуюся из скаффандра в момент взрыва, отрезало осколком, как лазером. Кровотечение остановили уже на подлете к базе — врач сказал, что еще минута, и Борис истек бы за тридцать секунд до стыковки.

Вместо потерянной конечности ему поставили механический протез старого образца. Модель МП-3, выпуск 2160 года. Тяжелый, грубый, с тросовым управлением и тремя степенями свободы. Давно снят с производства, заменен на нейроинтерфейсные модели, которые подключались напрямую к нервной системе и позволяли чувствовать протез как настоящую руку.

Но Борис отказался от апгрейда.

Сказал: «Старый работает. Новый сломается». Или не сказал — никто точно не помнил. Борис вообще говорил редко.

Протез скрипел при каждом движении. Противный, высокий скрип — как будто где-то в недрах механизма терлись друг о друга две металлические поверхности без смазки. Этот скрип сводил с ума чувствительных членов экипажа. Молодой техник Плотников однажды не выдержал и попросил Бориса «смазать эту чертову железяку, потому что она мешает спать, работать и жить». Борис посмотрел на него, помолчал десять секунд, потом сказал: «Смажь сам». Плотников не стал.

Сам Борис скрипа не замечал. Он вообще мало что замечал.

Говорил короткими, рублеными фразами — от одного до трех слов. «Понял». «Делаем». «Есть». «Нет». «Не знаю». «Отставить». Не улыбался. Не шутил. Не жаловался. Выполнял приказы с точностью автомата — не быстрее и не медленнее, чем требовалось. Сидел за штурвалом, смотрел на приборы, нажимал кнопки, дергал рычаги. Никто не знал, что у него внутри.

Может, пустота. Может, бездна. Может, такой же механический протез, как рука, только вставленный вместо души.

Ковалев пробовал разговорить Бориса однажды, в первую неделю полета.

Задал несколько общих вопросов — откуда родом, как попал на флот, не скучает ли по дому, есть ли семья, кого оставил. Борис выслушал, глядя прямо перед собой, потом повернулся к Ковалеву. Протез скрипнул. Сказал: «Из ада». Помолчал. Добавил: «Не скучаю». Повернулся обратно.

Больше они не разговаривали.

Ковалев думал о Борисе иногда. Представлял его прошлое — если вообще можно назвать прошлым то, что состоит только из боли и пустоты. И каждый раз эта мысль вызывала странное, почти неуместное чувство благодарности. Борис был напоминанием. Напоминанием о том, что человек может сломаться, но продолжать работать. Как двигатель с треснувшим поршнем — дымит, стучит, но вращается. Не сдается.

6.

Остальных Ковалев помнил хуже. Они были фоном. Статистикой. Цифрами в отчете, которые станут именами только тогда, когда рои начнут их выключать.

Техник Плотников — молодой парень из Твери, вечно улыбался, вечно шутил, вечно пытался подкатить к Чжао — безуспешно. Он любил петь в душе — громко, фальшиво, с таким надрывом, что стены дрожали. Сальваторе говорил: «Если бы он пел так же хорошо, как чинил двигатели, он был бы звездой. А так — просто хороший парень».

Навигатор Сомова — женщина под сорок, молчаливая, с грустными глазами. Она носила на шее кулон с фотографией сына — тот погиб в авткатастрофе за год до полета. Сомова не плакала на людях, но по ночам Ковалев слышал ее тихий плач через стенку. Никто не говорил ей: «Держись». Все понимали, что слова не помогут.

Капрал Ким — кореец, молчаливый, дисциплинированный. Идеальный солдат. Никогда не жаловался, не паниковал, не спорил. Выполнял приказы с той же механической точностью, что и Борис. Только Борис был сломан изнутри, а Ким — нет. Или да. Кто знает.

Доктор Смирнов — фельдшер, молодой парень с медицинским образованием уровня «я умею ставить капельницу и отличать перелом от ушиба». Он боялся летать, боялся темноты, боялся высоты, боялся крови — но почему-то пошел в космическую медицину. Может, хотел доказать себе что-то. Может, просто не нашел другого места.

Повар — огромный молчаливый парень из Минска, который готовил так, что даже синтетическое мясо казалось деликатесом. Он никогда не выходил из камбуза, почти ни с кем не разговаривал, но каждое утро оставлял на столе в кают-компании свежий хлеб — теплый, хрустящий, пахнущий настоящим, земным, живым.

Остальные — еще восемь человек — сливались в одно лицо. Ковалев знал их имена, но не знал их историй. Он никогда не пытался узнать. Он был инженером, а не психологом. Ему платили за то, чтобы он чинил механизмы, а не залезал в души. Теперь он жалел об этом. Каждую ночь. Каждую минуту тишины.

7.

Их задание было сформулировано в приказе № 0479-А от 12 марта 2194 года.

Ковалев перечитывал его раз двадцать, пытаясь найти между строк скрытый смысл. Не нашел. Там не было скрытого смысла. Там была обычная бюрократия — сухая, формальная, бездушная.

*«В связи с потерей связи с экспедиционным крейсером "Фантом" (бортовой номер НК-101) в системе Регис-3, предписывается кораблю "Разрушитель" (бортовой номер Р-207) под командованием капитана Градова И.С. совершить переход в указанную систему, установить местонахождение и состояние крейсера "Фантом", принять меры по спасению экипажа (если таковые потребуются), провести анализ причин потери связи, после чего возвратиться на

базу с полным отчетом и рекомендациями по предотвращению подобных инцидентов в будущем»*.

Ни слова об опасности. Ни слова о возможной угрозе. Никаких «будьте осторожны», никаких «при малейших признаках нештатной ситуации прервать миссию и возвращаться на базу». Стандартная поисково-спасательная операция.

Таких было пять за последние десять лет, и все заканчивались успешно — пропавшие корабли находили.

В первом случае — неисправная антенна связи. Экипаж играл в покер и не заметил, что их вызывают. Капитану объявили выговор.

Во втором — пьяный навигатор ввел неверные координаты, корабль ушел в сторону на три световых года. Навигатора уволили.

В третьем — сюрприз в виде неизученной звездной активности, которая глушила все частоты. Через две недели активность прошла сама собой.

В четвертом — корабль сел на астероид, повредил двигатели, экипаж ждал помощи два месяца. Все выжили, хотя и похудели.

В пятом — метеоритный поток пробил корпус, погибли трое. Но остальных спасли.

Никто не думал, что «Фантом» погиб. Никто не готовился к худшему. Худшее казалось невозможным — корабль, построенный по последнему слову техники, с броней, способной выдержать прямое попадание микрометеорита на околосветовой скорости, с экипажем, прошедшим психологический отбор на уровне спецназа. Как он мог погибнуть? От чего? От руки какой-то примитивной планетной аномалии?

Высокомерие. Вот что убило «Фантом». И убило «Разрушитель». И убьет следующий корабль, который прилетит к Регис-3. Потому что люди не умеют верить в то, что выше их понимания. Не умеют мыслить масштабами, которые не укладываются в голове.

Человеческий мозг — машина по упрощению реальности. Мы вырезаем из мира всё, что не понимаем, и называем это «объективным взглядом». А потом удивляемся, когда реальность кусает нас за задницу.

Ковалев об этом тогда не думал. Он был инженером, а не философом. Его дело было — цифры, схемы, допуски. Он оставил философию Чжао.

8.

За неделю до старта он запросил все доступные данные о системе Регис-3. Их было мало. Очень мало. Тревожно мало.

Звезда — красный карлик, спектральный класс M5V, светимость 0.001 от солнечной. Температура поверхности — 2800 Кельвинов. Возраст — около 8 миллиардов лет — старая, уставшая, почти мертвая. Планет — три. Все каменистые, без сколько-нибудь значительной атмосферы. Регис-3 — третья от звезды, радиус 0.8 земного, масса 0.6 земной, температура поверхности от -40°C днем до -120°C ночью. Никаких признаков жизни. Никаких аномалий. Рутинный объект, каких тысячи.

Но были еще кое-какие данные.

Старые. Почти забытые. Похороненные в архивах.

За двадцать лет до «Фантома» в систему Регис-3 отправлялся автоматический зонд «Стрелец-3». Зонд из серии дешевых, одноразовых, на твердом топливе — запустил, забыл, не жалко. Он передал несколько спектрограмм, зафиксировал необычное рассеяние радиоволн в верхних слоях атмосферы, потом — еще несколько непонятных сигналов — и замолчал навсегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.